



Анастасия  
ЦВЕТАЕВА

## МАЛОВЕРОЯТНЫЕ БЫЛИ

### Родные сени

В каждой жизни бывает необъяснимое. Моя жизнь не очень богата подобным — может быть, потому, что от рождения я, как моряк под парусом, под этим ветром плыву: легкие полны им.

Чувство, что все волшебное (детство), иррационально (юность), таинственно (зрелость и старость), — срослось со мной.

И все же есть несколько случаев, выпадающих из сетей моего улова — в любые руки, на потребу любому, под парусом этим не плывущему. Так путешественник привозит друзьям курительную трубку из морской пены, кусок лавы с вдавленной в нее — когда та была горячей и мягкой — монетой, нитку кораллов, еще пахнущую морским дном.

Звали его Леонид, знала я его уже тринадцать лет, с его двадцати, моих двадцати девяти. Все мы его любили чувством сдержанного восхищения, желанием походить на него, радостью каждой встречи. Но случилась у меня вина перед ним — сорвавшееся несправедливое слово. Это меня томило. Я написала ему с просьбой прийти, когда будет в Москве, — работал он вблизи Вологды. Письмо мое было послано на адрес московский, матери его, у которой он в приезде останавливался, и от нее пришел ответ, что Леонид был, но всего полдня, просил извинить, что не смог быть у меня, скоро придет на дольше и непременно зайдет, шлет привет.

И теперь каждый день я поджидала его.

В моей комнате, в четвертом этаже, над тихим Мерзляковским переулком, — уютной, с гигантской тахтой, старым бюро-кораблем вместо письменного стола, звездным глобусом, цитрой и музыкальной шкатулкой на бабушкином комодике, с фортепьяно и вольтеровским креслом, с обломанной мраморной головой работы Торвальдсена, с портретами по стенам, — вечером, придя с уроков, я слушала — не раздастся ли (мне) 4 звонка и голос его в темном маленьком коридорчике. Звонки раздавались часто, но все не его шаги. Когда же стукнет в дверь его крепкая небольшая рука и я двинусь ему навстречу — просить прощенья?.. Он переступит порог, в коротком знакомом пальто, снимет фуражку, невысокий, светло-русый, узколицый, застенчивый, — и как умел он стать гневным...

Рисунок Р. Клочкова

Фото Л. Шимановича



Волевой подбородок, юношески не заросший, и этот сияющий, словно всегда на празднике, сосредоточенный и лучащийся синий взгляд.

Были в нем, сказал бы древний, веривший в значенье планет, — мужественность Марса и повелительность Юпитера, но их оведала мечтательность Луны. И на диване ли сев или ходя по комнате одновременно твердой и уютной походкой, он наполнял эту комнату сдержанным весельем, напряженным покоем. И было чувство, что все хорошо, раз он тут. Как мне хотелось скорее сбросить с себя вину!

В тот последний раз, когда он был у меня, он рассказал, что встретил Нину, которую не встречал уже годы, был у нее — она переехала в Замоскворечье — в старом доме — он любит такие, — на антресолях. Она была замужем, разошлась, у нее сын лет двух — замечательный мальчик, Николай. Он ходил и говорил о ней и что-то недоговаривал, а я снимала с примуса кофе, наливала и слушала. Он выпил стакан, отломил печенью. Нет, он больше не хочет, хватит, — и точно эти слова перевернули какой-то рычаг.

— Да, — сказал он, останавливаясь у фортепьяно, — я теперь твердо знаю, — он повернулся и пошел меж тесно стоявших вещей, — всякое чувство можно остановить волей. Если физической близости не должно быть и ты это понял — можно остановить чувство, как бы сильно оно ни было. Но тут уж надо быть неумолимым к себе!

Его лицо (он, не заметив, вдруг стал на месте) было чуть поднято, он глядел немного вбок и вверх, отталкивая от комнаты взгляд, как лодку от берега; абрис верхней губы над полной нижней был овеян некоею важностью. Над решимостью — еще чем-то: прилушничанием. И был сдерживаемый восторг знания в этом отвернувшимся взгляде. Затем он вынул часы — старые, отцовские, на цепочке, — взял фуражку, пальто, тепло пожал руку.

И я могла обидеть этого человека! Когда же я увижу его?

Он не пришел ни в этот вечер, ни в следующий. А еще через день меня вызвали к телефону и сообщили, что приехали из Вологды родные — шесть дней назад около часу ночи под поездом погиб Леонид Фе-

дорович. Похоронен в Вологде, куда выезжали мать и сестра. Просят сообщить друзьям о девятом дне: панихида будет в такой-то церкви, в таком-то часу.

В неожиданном горе и в непонятности происшедшего (его нет — его никогда с нами не будет — и как мы — никто! — не чувствовали, что мы должны его потерять?), глядя на растерянные лица друг друга, повторяя слова, переданные по телефону, о неизвестности, как произошла смерть, — мы вспомнили ту, которую он любил. Нину. Ей надо было дать знать. И вот тут оказалось, что мы не знаем ни ее отчества, ни фамилии, и я ее видела раз, восемь лет перед тем, когда он зашел с ней в Музей изящных искусств, где я работала, и мы прошли втроем по верхним залам среди мраморных стен, статуй античного мира, под стеклянными потолками. На этом сказочном фоне мне запомнились большие глаза, карие, яркие, улыбка полного рта, рукопожатье нежной руки и моя нежность к той, которую полюбил Леонид. Но годы, один за другим, — это очень много людей, глаз, улыбок, рукопожатий, имен, отчеств, фамилий — и я совершенно не помнила, как звалась меж людей та юная женщина. Мне она была Нина — и все.

Был апрельский вечер, холодный. В темноте, против ветра, по слабо освещенному проезду Сретенского бульвара мы шли к телефону на Главный почтамт: кто-то надеялся узнать о Нине — точнее. Но попытка оказалась тщетной. Тогда я вспомнила, что мельком видела ее еще раз, в годы, когда Леонид уж давно с ней не встречался: у моего друга, скульптора Жукова, на вечеринке, и она в тот вечер мне не понравилась — подведены были не то глаза, не то брови, и рука на гитаре, и песенка (это было «не то» — Леонид?). Теперь я знала, что — то. По тону последнего его рассказа о ней. И я бросилась звонить — скульптору. Но и тот, и его жена — отвечали, что не помнят: столько лет назад, было столько народу... Кажется, была Нина, чья-то знакомая, ее привела какая-то женщина...

— Дело пропало, — сказала я тускло, без сил, вешая трубку.

И снова холод, ветер и улица. Как во сне, после полного работой и горем дня я входила в одну из

квартир большого дома Сретенского бульвара — к женщине-другу, близкой, как мы все, Леониду, — для нее его смерть такой же удар, как для меня.

С этим чувством иррационального облегчения, утешения в неутешном я вошла к ней. И до поздней ночи мы все старались найти способ узнать о Нине — была ли то подосознательная попытка погоней за ней затмить хоть на час боль о его уходе, занять себя какой-то трудной задачей, имевшей отношение к нему? Стараньем что-то сделать для него, будто бы он еще жив... Затуманить неоспоримость его — навсегда — отсутствия? Кажется, это так. Как и — всё возвращались к нему — разговор о том, чем была его смерть — неудачным прыжком? Как все железнодорожники, так и он, прораб, часто вскакивал и сходил на ходу. Или — прорабы возят деньги для расплаты с рабочими, и — совершенно преступление? Он мог сопротивляться, быть сброшен? Увы, как все это, само по себе большое, и последний его час, и последний наш долг ему — известить о его панихиде ту, которую он любил, — как все это было мало перед тишиной его внезапного исчезновения, перед навек необъяснимым фактом его отсутствия, перед наставшей между нами пустотой!

Ночь. С той ночи прошло двадцать лет ночей. Но как будто вчера я вижу кушетку, на которой меня уложила старшая моя подруга — Нэй. Но разве не чудо это — чем ее залечишь, утрату? — непонятно, что бывший с нами вдруг стал не наш, он, входивший, хотевший войти «на следующей неделе», которой не оказалось ему... смеявшийся, жавший руку, надевавший фуражку, стал вдруг — прозрачной небес... воспоминаньем! Помогли тонкие пальцы подруги, тепло сжавшие мне руку. Голос — тоже неповторимый, шепнувший:

— Спице... Поздно! Пора.

Властная ласка огромных серо-зеленых глаз, близоруких, поднявших и опустивших надо мной тяжелые веки.

Ее мать уже спала, устав; и сын, мальчик большеглазый, как мать, спал. О стекла окон бились свежинки. Где-то они сыплются на могильный холм.

Весеннее утро пусто и высоко стояло над деревьями Сретенского бульвара, не видно нам из высоких, пустых окон третьего этажа. Первый взмах сознания срезан серпом: «Нет Леонида!» Сколько утра будут так начинаться, сколько ночей! Голова отдирается от подушки тугостью овоща от гряды. Проспано часа три. Надо вставать — идти — что-то делать. И нет сил. Однако есть уже достижение: вчера кажется очень далеко — горе быстрый вожак. Неужели еще вчера утром мы не знали, что Леонида нет? Это один день прожит?

Запах мокко, блестящий кофейник.

— Вот полотенце, Ася. Ванна свободна.

Мать подруги, старшая писательница России, когда-то красавица (невисокая, полная, с пристальным взглядом еще больших горделивых глаз, но с уже старческим ртом), давала мне мыльницу.

Я шагнула, взмахнув белозной за плечом, как вдруг встала, ничего не поняв, потрясенная: ощутило, словно сойдя из воздуха, в самую черепную коробку было подано мне — спущено — вложено:

«Нина Дмитриевна Туркина».

Беспомощно, испуганно я оглядываюсь. Что это было? Я окликнула подругу:

— «Нина Дмитриевна Туркина» — мне сейчас, понимаете? Вот отсюда. — Я показала на голову.

— Так и должно было быть. Я знала, что так будет. — В огромных серо-зеленых глазах Нэй, с близоруким взглядом, очень тяжелыми веками, — свойственное им сияние торжества.

Решили так: я отменяю свои английские уроки в Тимирязевке, иду в МКХ<sup>1</sup> — будка на Страстной площади — и подаю запрос об адресе на это имя, отчество и фамилию.

Если это она, улица будет в Замоскворечье. Голубой день, тает. Вагон трамвая «А»... Я протягиваю заполненный листок в окошечко МКХ, сердечке бьется так сильно, что не слышу, что отвечают.

<sup>1</sup> МКХ — московское коммунальное хозяйство, предшественник мосгорсправки. (Примечание автора.)

— Что? Через двадцать минут?

И вот я хожу по Страстной площади, меж цветочниц, напротив Пушкина, на невидимой цепи вокруг будки. Покупаю фиалки — они рассыпаются. Сыплю их в портфель и хожу. Хорошо, что вблизи будочки МКХ мало народу. Так гораздо легче мне ждать.

И зачем я купила фиалки? Ведь даже нет его гроба, он в земле давно! А Нина не знает... А вдруг окажется, что нет Нины Дмитриевны Туркиной?

Медленно подхожу к окошечку. Не слышу свой голос. Маникюрные пальчики протягивают листок: «... проживает... возраст — около 30-ти... служащая... по такому-то переулку...»

Слышу резкий, с дрожью голос (мой?):

— А где это?..

— В Замоскворечье, Ордынка. Следующий.

Толкнувшись о подходившего к окошечку, не видя никого, ничего, я иду через солнечную (тепло!) Страстную площадь, целую листок, вынимаю из портфеля фиалки. «Это же я Нина купила!»

И минуту спустя: «От него».

...Цепь бульваров, вагон «А». Ордынка, как далеко! Мне незнакомая улица. Как давно я была за Москва-рекой. В Третьяковке раз как-то... Столько лет хочу пойти на Полянку, в бывший Маринин дом (ее теперь — Париж, прежде — Чехия), — Первый Казачий переулок, дом 8! С юности не была! Наверное, недалеко от Ордынки? Как ни на что не хватает времени. Аля тогда была крошечная (Марина дочка). Теперь ей, как и моему Андрюше, — двадцать четыре. Париж — ее, его — Алтай. Жизнь — сплошная разлука! Непременно пойду сегодня на Полянку, в Казачий. На обратном пути от Нины! И напишу им, туда...

Но это другая боль о кусочке канувшей юности (первый год брака Марины и Сережи, ее двадцать, мой восемнадцать лет...) Солнечный двор с акациями, тополя, запах, как во дворе Трехпрудного, где Марина и я родились, — не за этот ли запах и за старые антресоли Марина с Сережей и купили тогда тот дом? Но боль эта не сочетается с сегодняшним днем, застенчиво гаснет, как погас тот солнечный двор.

Иду в тени от домов, бывших барских особняков Ордынки, на миг окунаясь в солнечные перешейки — низкий ворот и калиток. 1936 год.

И вот он, переулок, где не ждет меня Нина. Сверяя номера с листком МКХ, дохожу до ее дома. Старый бедняцкий особняк, огромная развесистая береза. Окно, крыльцо — таких особняков тысячи. В раскрытые ворота вижу качели, на них мальчик школьного возраста. Две женщины развешивают белье. Я задаю мой вопрос нарочито медленно — чтобы овладеть голосом. Или чтоб оттянуть?

— Туркина? Нина Дмитриевна? — переспрашивает женщина.

— Да, — говорю я строго. — Сын у нее...

— А, Нина Дмитриевна? Сын? Вот, вот. Во-он он на качелях качается!

Сердце падает. Значит — не та... Однофамилица!

— Да ты что? — Другой женский голос. — Наверно у живет, как не знаешь! Да у ней же малыш, Коль-ка! Ну! Знаешь?

Не слушая, не глядя, шагаю двором, к крыльцу. Вверх — мимо каких-то дверей, держась за облупленные перила, по разлатым ступеням уютной лесенки, по которой всходил Леонид. Воспоминание и о доме Толстого в Хамовниках, и о папином, в Трехпрудном. Сердцебиение застала все.

Навстречу мне приоткрывается низкая дверь, слева от конца лестницы, высовывается голова женщины — черт не вижу по близорукости, — темные волосы, круглолицая, большие глаза, яркие.

— Нина Дмит...

— Входите, пожалуйста. — Она протягивает мне руку. — Я знала, что кто-то придет сегодня!

— Я принесла вам печальную весть.

— Леонид? — И помедлив: — Я знала уже, я ждала...

— Погиб. Похоронен в Вологде. Завтра в час дня панихида, девятый день.

Ее руки у висков, глаза на мгновение закрыты. Выше среднего, статная. Как хорошо держится! Ведь комната плывет ей сейчас...

(К моим глазам — слезы, горло как рукой сжато.) Но разве могла быть иной — его подруга?

— Мы еле нашли вас. Я вам расскажу...

— Я сегодня в первый раз не пошла на работу, за полтора года. Я сына отнесла к маме, я знала, что кто-то придет. О нем. Я ждала кого-то из вас. Я вас сразу узнала... Сядьте. Мы будем долго говорить.

Я смотрю в золото-карие глаза, широкие. Мне кажется, они говорят — такой на них похожий голос, идущий вглубь, и такая в них проникновенная решимость, прислушивание, завороченность, служение. У нее совсем не темные, у нее — бронзовые волосы. Она совсем другая, чем я ее видала, — зрелее, строже. Но когда, сказав о сыне, улыбнулась — не вяжется эта блаженная улыбка с полным женским ртом, — говорит во мне вдруг что-то: да, тут власть Юпитера тоже, но мечтательность — Луна, Луна и Луна.

— Леонид восхищался вашим мальчиком.

— Коля на него похож. Им все восхищаются. — Она ответила просто. — Я не видала Леонида Федоровича четыре года, до последней встречи. Коле — два. Сходство же явное. Он очень умен. И у мужа — я с ним разошлась уже полтора года назад — глаза темные, и у меня тоже. Коля — голубоглазый, но голубоглазых много, — он на Леонида похож. Вы же еще придете, когда он будет дома. Вы увидите... Я много видала детей, но такого — я не знаю, что будет с ним в жизни, он не похож на других детей... — Она встает, идет по комнате. — В час ночи! Вы думаете, он прыгнул? Неудачно? С товарищеской? Нет! Он бы не мог ошибиться — нет...

— Он вез деньги рабочим.

— Думаете, убийство? Да, это могло быть...

День шел к вечеру, я глядела на Нину и слушала ее голос. И какое-то волшебное состояние овладевало мной.

Горе — отступало. Смерть Леонида — то, с чем я сюда пришла, — как-то странно видоизменилась. Я еще не могла себе дать отчета, что происходит, почему мне почти легко, когда совсем просто и совсем ясно, как несомненную истину — я ощутила, что Леонид — с нами. В эту минуту Нина встала и, повернув ко мне лицо:

— Вы чувствуете? Да? Леонида! Он — тут.

Я встала тоже. Мы смотрели друг на друга. Молчали. Чувство огромной полноты, тепла и покоя держало ум и сердце в неиспытанном еще слиянии. Испугались ли бы мы, если бы он — вошел? Было тихо в знакомой ему комнате. Две души, слившись в одно, билась, как мотылек, о светильник бессмертия.

И перешагнувший туда — был здесь.

Но молчать стало тягостно. От слабости.

— Боятся не надо, да? — спросила я Нину. — Человек слаб перед видом нарушенья закона...

— Но ведь оно и ему не нужно, — сказала Нина, — Леониду? Не нужна и нам — форма явления. Вы же чувствуете, что он — здесь...

О, если есть тот мир, — как же он прекрасен, когда одно касанье к нему полнит нас такой полнотой. Подошедшее к нам длилось — недолго во времени. Но оставило по себе радость чувства касанья к чуду, после которого все легко...

Я не помню, ели ли мы в тот день и сколько прошло часов. Уже было темно за окнами. Телеграммы о Леониде еще были, должно быть, в пути — в Архангельск, нашему старшему другу, на Алтай, моему сыну, с которым, одиннадцатилетним, тому назад лет тринадцать Леонид играл, звал «жужелицей»...

И пусть, на взгляд многих, все это было воображение, но вообразилось оно как раз так, как требовалось нам — ей и мне, двум совсем разным душам. И способ дать знать — «Нина Дмитриевна Туркина», — и способ войти и утешить (не испугать) были отменно похожи на Леонида.

(Это — тем, кто не верит.)

А кто верит — тем ясно, что кому же, как не

себе, мог поручить Леонид — утешить? В мире, где только чудо может опровергнуть и победить этому миру присущую безутешность? Никто иной — ни я сама, ни та, ни другая подруга, ни даже наш старший, самый любимый всеми, самый волшебный друг, коему шла телеграмма, — не могли смягчить уход другого. (Подменить собой? Собой задвинуть отсутствие — не свое? Попытка с негодными средствами! Отсутствие лечится только ПРИСУТВИЕМ, и, если отсутствие смертное — то присутствием бессмертия.) С этим застенчиво и мужественно, как все, что делал, и подошел к нам, быть может, Леонид?

К жизни я очнулась в час ночи. Я испугалась, что дома, то есть в квартире, где жила, — ждут, чтобы после моего прихода запереть на внутренний замок. Ехать? Так не хотелось — и поздно — уже последние трамваи идут, наверное, в депо.

— А нельзя ли позвонить, что не приеду, чтоб заперли?

Можно, телефон в кухне, Нина проводит меня.

Сойдя с лесенки, мы вошли в дверь, мной до того не замеченную, в конце чего-то вроде «черного хода». Нина показала мне телефон и ушла стелить нам постели. Держа телефонную трубку, я рассеянным — вполнивания — взглядом смотрю на эту странную кухню: плитка стояла посередине, как домашний божок, как в годы гражданской, давней, войны, а стена, где бы ей стоять, имела подряд три узенькие двери. Как во сне. Почему-то обоим «под дуб». Неуютно... (Какие ненужные мысли, когда человек устал!). На телефонный зов мой — не шли. Видно, спят? И вот — так бывает, когда очень устанешь, и в потерянности непростивления непрошенные гости — воспоминания — одолевают явь. Желтый ли цвет стен вдруг перенес в другую темную солнечность давней гостиной с длинным овальным столом? Фрукты, вино, бокалы. Заздравные тосты. Из мглы (амбразура ли двери раскрытой?) — лицо. Светлые, тоскующие, в этой тоске надменные, приглядывающиеся и уже глядящие дальше глаза. Легчайшим золотом пышущая волна коротких волос. Черты римского отрока — Марина!

А рядом — лик почти! Так худ и так прекрасен. Но радостноглазый и ласковый... Двадцать три года с плеч! Вечер у Марины и Сережи, в их доме в Первом Казачьем. Сколько лиц молодых! Борис мой, моя роковая встреча, муж и отец ребенка — обреченное благородство черт, светлый взгляд, тонкие ноздри! Золото — еще светлее Мариных — волос, отброшенных, как у Листа. Тебя ли оставлю ради твоего юного друга, Гермеса, не сводящего с меня любующихся и застенчивых глаз, — и дальше, и дальше — как гриновская «Бегущая по волнам»?

(Сквозь это слушаю напряженно молчание в телефонной трубке. Идут, нет? Спят?). О, почему — вдруг?..

Впервые в меня тяжелый и дерзкий взгляд (длинные голубые глаза, русая борода крестьянина, широкоплеч, в себе уверен), любивший меня с моего отрочества дочитывает вслух свои стихи с посвящением: «Написавшей мне из Италии». (Картинку с видом Средиземного моря — помню.) Дерзостно читает Толя! свою любовь мне в лицо, видя рядом моего молодого мужа, — мы только что из заграничной поездки, все знают, что стихи — мне. (Это летит в памяти, сердца не достигая, — в то мгновение, когда из тоненького далека, в коридоре у телефона слышатся игрушечные шаги. И их ритм добрасывает в мою память — конечные стихотворные строки — предсказание, что я счастлива не буду... «Покуда в родные...»)

— Слушаю! — прерывает меня голос.

— Простите, я вас разбудила? Я ночевать не приеду. Закрывайте, пожалуйста, дверь! Да, у подруги!

Трубка повешена, Озираюсь. Довспоминаю что-то, то есть ловлю ускользающее. Что-то надо довосполнить. «В родные...» А что же дальше? «Покуда в родные сени не придешь...» Это? Или нет... что, когда в голод, вернувшись в Москву, пойди именно к этому

<sup>1</sup> Анатолий Корнелиевич Виноградов, будущий писатель, погибший в 1946 году. (Примечание автора.)

человеку просить о работе, я получила отказ? Нет, нет, еще что-то...

Пробираюсь мимо плитки, трех дверей, чьего-то мусора — в четком ощущении, что мне не нравится эта кухня. Наша, с цементным полом, с огромной плитой, пятнадцать лет не топящейся (примусы), где гремишь ночью, после работы, корытом, — лучше!

По лесенке (Хамовники, Толстой, и наш тот, в Трехпрудном!) — вверх.

— Дозвонились?

Теперь я вижу комнату Нины, только теперь: квадратная, низкая, как все антресольные. Два окна, мало вещей. Кровать Коли. В эту комнату входил Леонид! Тут ходил, как по моей, там сидел у стола...

Мы с Ниной уснули под утро. Говорят, усталый человек не видит снов. Но я сон — увидела: я спускалась по Нининой лестнице, по которой только что наяву взойшла, заглянула через закрытую дверь (во сне это мне не мешало) — напротив было два окна, сбоку третье. Это взволновало меня, и я поспешила дальше, через кухню, в дом, к тем трем узким дверям. Там на большом листе я рисую что-то и очень боюсь опоздать.

«Значит, так! В комнате возле уборной жила женщина, у нее был Коля, ему было шесть лет. И все три двери — это стена гостиной! А плиту потому так поставили, что ей помешал — буфет! То есть не он, но тень от него мешала! Ясно теперь все!»

Я сложила рисунок и кинулась вверх по лестнице.

«Нина! — кричала я. — Я сейчас все расскажу вам! Только скажите — направо от вас есть комната? Узенькая? И в ней три окошка? Нина! Вы живете в...»

— Ася, вставайте! Опоздаем!

Я открыла глаза. Нина трясла меня за плечо.

— Где план? Подождите! — Я металась по дивану и шарилась. — Я же тут все... Ах, я его ведь во сне... Это все равно! Нина, я не сплю! — кричала я в лицо улыбающейся Нине. — У лестницы жила Лиза, жилища, у нее был шестилетний сын Коля (ваш второй уже). Там два окна, да? И третье — к калитке? А рядом с вашей — узенькая? И в ней... Это ж Маринин дом! Нина, вы живете в Марининой кладовой — потому я ее не узнала, тут было пусто, Адины пеленки висели... Детская была рядом, а Маринина — та, с тремя окнами, под углом, узенькая, волшебная! Я это во сне поняла, и я даже план нарисовала... Но только я все-таки не понимаю, как мог дом перепрыгнуть с Полянки — на Ордынку! И совсем другие ворота, и другой двор!

— А, ворота! Это я вам скажу. Это очень все интересно! Только давайте скорее одеваться, сейчас закипит чай, уже поздно...

— О, не надо чаю, — просила я, одеваясь так быстро, как пожарники на пожар, — я сейчас, я только должна убедиться — взглянуть на Маринину дверь!

— Асенька, вы ничего не узнаете, тут было столько переделок... В той комнате, где телефон, прорубили двери в заднюю, ее переделали.

— Гостиную! Да, знаю! Нина! Так ведь это в кухне теперешней, в ней и стоял стол с теми винами и фруктами? И значит, я оттого и вспомнила у телефона про те стихи — а я думала, от усталости лезут воспоминания... А они пролезли, несмотря на усталость. Я вам расскажу по дороге... Нина! Почему тут вышло совсем обратно? Люди просыпаются — и тогда помнят и понимают, — а мне надо было заснуть, чтобы вспомнить и осознать... Да... Знаете, Нина, Леонид меня звал — домой, к Марине и к вам, и подарил нас друг другу... Как это на него похоже!

И в то время, как я открывала дверь и с моих плеч бесшумно падали двадцать три года жизни, потому что через старые деревянные перила к Марининой двери лежал, сломавшись о них, теплым коврик солнечный луч, Нинин голос сказал:

— Здесь заснем, а там это есть — просыпание. Смерти ведь нет...

Обертываясь к ней, я протянула ей обе руки:

— Как я рада, что вы тут живете!

Это Леонид, а вовсе не тот Анатолий, привел меня в «родные сени», и ведь он мне сказал, что ему этот

дом — нравится... И подумать, что я в первый раз в нем, в Маринином доме, ночевала — теперь...

Мы надевали пальто, выходили, моя рука ласкала, спускаясь, перила, как кошку.

— И я хотела искать этот дом, не спешила, а потом пришла к вам — и забыла про все... И не глядела на двор, спеша к вам...

Солнце било в глаза, мы шли крыльцом.

— Ниночка! — Я смеялась почти. — Что же мне делать? Двор — не тот, и деревья — не те, и ворота. И улица, и переулок — другие... Но это же Маринин дом, в Первом Казачьем!

Она улыбнулась мне — и я навеки ей благодарна, что она не торопила меня в этот миг. Я оглядывалась, не понимая, бежала, как пест, по следам бывшего, гладила какие-то пеньки («...Срубил... сожгли... тополя... А вон там береза была...»), колдовала, приноживалась, дышала — и мы обе опаздывали с ней на работу — но такое же только раз!.. То, о чем на свете — поют песни. Акации (не «белые» — желтенькие) цвели, как и в тот давний день.

— Вы хотите все же понять? — добро спросила Нина, обойдя со мной двор, где когда-то две наших старых няни под пахучими тополями гуляли с Андрюшей и Алей. — Домоуправление (это еще до меня было — рассказывали) решило закрыть те ворота, что выходили в Казачий, а эти, запертые прежде, открыли — угловой участок. Вы за деревьями и не знали, верно, про вторые? Зачем Ордынка вместо Полянки понадобилась — не знаю, но факт. Вот дом и получил другой номер и числится по другому переулку... А крыльцо вы не узнали...

— Да, потому что мы входили с «парадного», как тогда смешно звали, от Казачьего, да, да. Этот угол двора я даже совсем не помню — и березу эту...

— Березку — тогда маленькую — позабыли! А она...

Мы стояли под ней, шумной и пышной, один миг — и уже шли переулком.

Мы шли вместе, почти бежали до моего трамвая. Был белый апрельский день, летел снежок.

— Приходите, увидите Колю. Вы ахнете...

Мы шли и говорили о Леониде.

1956 — 1980

## Непонятная история о венецианском дожде и художнике Иване Булатове

Начало этой истории рассказал сам Иван Михайлович — когда мы были в гостях у моего друга Бориса Михайловича Зубакина в двадцатых годах века. Заваленная книгами высокая комната, увешанная портретами, самодельные полаты и лесенка к ним — так как реликвии прошлого не помещались, — лицо хозяина, походившего на Шекспира (поэта, импровизатора и скульптора) и фантастический облик Булатова — длиннородого, уже сидящего, в бархатной куртке, — все как нельзя более подходило к истории, которую он рассказал. Но был этот рассказ — былью. Знала я до того дня, что художник Булатов долго жил в Турции, писал Константинополь. В этот вечер я услышала о том, что он был и в Италии.

— Я первый раз приехал в Венецию, — говорил он, — и, конечно, пошел осмотреть Дворец дождей. Итальянского я не знал, но гид мой знал немного по-французски, и мы кое-как друг друга понимали. Мы шли, я слушал. Внезапно я ощутил необычайное беспокойство. Не понимая, что со мной, я бросился вперед. Такое необъяснимое бывало со мной только во сне — или в далеком детстве... Я стал у правой стены, сляясь что-то вспомнить, уловить, — в ужасной тревоге. «Но ведь тут была дверь!.. Тут должна быть дверь...» — сказала я догнавшему меня гиду. Он отвечал мне, тоже по-французски, что-то удивленное, о чем-то спрашивал... Я бежал вперед. Следующая, будто знакомая зала, большая, угловая, поперечной левой частью заканчивала только что пройденную анфиладу и поворачивала идущих назад вправо, во

второй ряд комнат, начинавшихся в правой ее стороне. В горячечной спешке я вбежал за открывшийся поворот и опознал следы того, что я искал: в стене, с этого боку уже виденной мною в той зале стены, были заметны очертания замурованной двери. Тут меня догнал гид. Он смотрел на меня, стараясь понять что-то. Какая-то сила тянула вперед, я не мог ей противиться, — рассказывал художник, — что-то похожее на прозрение в бреду. Я узнавал место, где никогда не был. Долго ли я метался по лабиринту Дворца? И был ли то лабиринт? Я вбежал в небольшую — сравнительно с другими — комнату. Потолок ее казался еще выше. На стене в тяжелой темной раме висел портрет. Он был, чудилось мне, зеркалом. На меня пристально смотрел я. Мой портрет, лучше того, что был на константинопольской выставке. Моя светлая борода курчавилась под пальцами поднятой к ней руки — мои пальцы, моя рука. Мой рот готовился — чуть-чуть — улыbnуться, тем разрушая строгость черт выражения, которое не совсем удалось мне в том, турецком, автопортрете с беретом на уже начавших редеть волосах. Тут надо лбом темно золотились пышные волосы. Я был одет в наряд жоа. Чудесное сверкание красок бархата и шелков, мастерство кисти, на мгновение ошеломив меня как художника, отвлекло от разищего сходства. В этот миг кто-то тронул меня за плечо. Я с досадой повернул голову — и увидел потрясенное лицо моего гида. Он переводил взгляд с меня на портрет и снова смотрел на меня. Чтo он пробормотал, я никогда не разгадаю, потому что я не знаю итальянского языка.

Больше ничего не мог добавить к своему рассказу Булатов. Он только разводил руками, говорил о загадочности жизни... Кто-то спросил его, как он относится к теории перевоплощения.

— Ведь если стать на эту точку зрения, то многое станет понятным. Можно предположить, что в каком-нибудь из прошлых веков...

Память не сохранила того, что сказал он, несомненно умнейший и самый необычайный, самый вдохновенный из нас... В ответ Борис Михайлович (туманно запомнилось мне):

— ...что у человека есть двойник — то...

Но кругом шумели, и я не помню конца его мысли. А может быть, собственное мое несогласие требовало выражения — то, что я сказала, я помню.

— Ну и что же из того, — обратилась я к только что говорившему, упомянувшему Индию, йогов, — что много различных учений объяснили бы это перевоплощением? Разве множество адептов — теософов, антропософов — доказывает их правоту? Их учение может быть тем не менее — ошибочно... Мне кажется даже убогим подобное толкование... Может быть, эта дверь ему когда-то приснилась? (Здесь можно чудесно впасть в лирику!) Сходство с портретом? Довольно-таки нищее размышление, что на нем самом, на Иване Михайловиче, столько лет назад был надет костюм жоа! Весьма скудное прозаическое объяснение...

— Ну, а как же вы объясните это? — возразили мне.

— А почему я должна объяснить? Разве таинственность не имеет права на жизнь? Разве мало ее вокруг нас?..

— Да, разумеется, — прервал Булатов, — трудно отрицать огульно... Но я лично никогда не занимался подобными темами, меня всегда интересовало только — Искусство! Объяснений не могу предложить... никаких... — И он перешел к своей теме — к живописи, к высокому мастерству художников Возрождения...

Прошло несколько лет.

Я, в тридцать девять, возобновила игру на рояле, стала брать уроки музыки у родной сестры Ивана Михайловича, Марьи Михайловны Сысоевой. Это была необыкновенная старушка: маленькая, в черном платье, с тоненькой золотой цепочкой часов, по старинной моде засунутых за пояс. Седые поредевшие волосы были заколоты пучком на затылке. Лицо ее было некрасивое, лишь голубые усталые глазки были очень умны, — волшебница, как их представляют в театре.

Брата и сестру связывала нежнейшая дружба.

Марья Михайловна стала приходить ко мне на четвертый этаж дома восемнадцать в Мерзляковском переулке. После урока мы пили чай и беседовали. Казалось, мы знали друг друга давным-давно... Услышать же хоть изредка прекрасное качество ее игры на моем старом темно-желтом фортепьяно было мне — праздник. Особенно помню я вечер, когда она долго играла Листа — и вспоминала, как где-то за границей давала концерт. «Все прошло?» Не совсем... До сих пор она исправляла руки студентов консерватории — «немешние». Она без негодования не могла произнести это слово, считавшееся нормой у многих профессоров: если такое случилось с их учениками, они советовали им на несколько месяцев «отдохнуть»! Вот тогда-то маленькая старушка, не по той постановке руки некогда учившаяся и учащая своих учеников, в очень короткий срок возвращала консерваторским ученикам — их руки, рукам — клавиши, профессорам — учеников. И ходил слух, что многие из профессуры знали о волшебной старушке, хотя и не находили гражданского мужества сами и — прийти к ней на поклон.

Разве это меньше достойно удивления, чем то, что испугало венецианского гида, или чем то, что произошло потом? Жизнь окутана тайнами, и было бы трудно пробираться через них, если бы не было дано человеку способности задумываться и постигать.

Марья Михайловна имела трудных детей и много забот, бедность и старость уже начинали ее угнетать, но одной из главных забот ее был брат Ваня. Семья он не имел, и она всю жизнь его опекала... И вот однажды, придя ко мне на урок очень расстроенная, она сказала мне, что брат ее заболел. Нервное переутомление, его кладут в больницу. Марья Михайловна чего-то не договаривала. Чтo-то смущало ее в нем. Она еле отвечала на вопросы. Чем я могла помочь? Я постаралась лучше сыграть все заданное и скорее усадить ее за чай, подкормить: она, старенькая, иногда уже и задремывавшая у рояля ученика, не отказывалась — в пути между уроками, порой на разных концах Москвы, — согреться в ласковости любивших ее семей, перекусить перед далекой дорогой. Сегодня она еле прикасалась к еде, не вошла сердцем в уют чаепития. «Ах, Ваня, Ваня...» «Когда же теперь пустят к нему?» «Хорошая ли больница?» Она отвечала невпопад, торопилась. Но мы все-таки условились о следующем уроке.

Исполнительная, она пришла, но, еще ничего не узнав о брате, была беспокойна. Я старалась убедить ее в том, что Ивану Михайловичу будет хорошо в больнице — отдохнет! — и питание, конечно, лучше, чем в их малоустроенной жизни... Так прошло еще урока два-три. Мне показалось, что у моей учительницы немного отлегло от души. Но когда я в этот раз спросила ее, удалось ли навестить брата, в старческих глазах ее появилось выражение еще углубившейся боли. Но она знала, что я ее люблю.

— Ваня не узнал меня! — сказала Марья Михайловна. — Или вид сделал, что не узнал... — медленно размышляла она вслух. — Он похудел, он мало кушает, но главное, он... не говорит — ни с кем. Он сначала отвечал на вопросы доктора, а потом — замолчал. Ни словечка — никому! Доктор сказал: «Понаблюдаем, потом будем лечить». Ну, что ж, давайте сыграем...

В тот раз я видела у нее слезы в глазах. Теперь они были сухи. Но уж лучше бы она плакала... Я села играть.

И пошли наши уроки в ее углубленном молчании и в спешке уйти.

— Молчит! — говорила Марья Михайловна. — И все меньше кушает. Надо что-то найти... сготовить, что бы ему понравилось... Изюму у Елисеева достала — целое сокровище! Если бы любимые его восточные сладости — да где ж их теперь найдешь?

Искала и я — но не те времена были. Питались мы тогда — сурово.

Я очень старалась хорошо приготовить урок и получила похвалу за «Лунную сонату» — одолела вторую, не нравившуюся мне часть. Морщинистое личико Марьи Михайловны посветлело. «Неплохо, неплохо»

хо. Поработали!» — сказала она своим прежним голосом. Но, может быть, не во мне было дело. За чаем она сообщила мне с каким-то незнакомым выражением лица — точно силилась отгадать что-то:

— Какое-то движенье в его болезни! Вчера мне сиделка сказала: «Начал бормотать что-то!» И сегодня бормочет... Нагнулась я к нему — понять нельзя, а интонации будто веселые... Несколько изюминок в рот взял.

В следующий раз она вошла — повеселевшая и сама.

— Допочет! — с порога сказала она. — Доктор ведь говорил: «Как вернем ему речь — так дело пойдет на выздоровление!» Только вот не по-русски он говорит! По-турецки? Обещали мальчишку достать — мать у него турчанка была, из Турции ее один наш солдат вывез — влюбился! Сама-то она умерла, но мальчишка от нее научился — может, с ним хоть поговорит, вспомнит Константинополь!

Я с интересом ждала вестей. Но Марья Михайловна пришла огорченная.

— Приводили мальчишку! Старался понять, самому интересно — мать, говорит, вспомню! Ни с кем после нее не говорил! Слушал-слушал, спрашивал Ваню — ни тот, ни этот! Точно и не жил в Константинополе!.. Отдала я мальчишке — изюм, с горя! Подросток уже, а обрадовался... А Ваня все равно его только по штучке...

И вот когда дело еще больше запуталось — оно плохо разъясняется с другого конца, хоть и мало приятного. Доктор пыливый не оставлял надежды разобраться в странном пациенте. К нему стали приводить людей, знавших французский, учившихся в школе немецкому (в этих странах много различных наречий), — но никто из них не понял ее Ваню. Вспомнив, наконец, что в другом отделении больницы работает медсестра, отец которой был женат не то на англичанке, не то на венгерке, доктор попросил и ее попробовать счастья. Что пациент уже не безнадежен, было ясно — вместе с речью, хотя и невнятной, вместе с процессом речи больной стал понемногу есть. Сон тоже стал глубже — без сновидений. Доктор повеселел.

Гостья из соседнего корпуса произвела в неврологическом отделении — фурор: с первой же минуты, сев возле больного художника, прислушавшись к его тихому бормотанию, она что-то сказала ему. Больной широко раскрыл глаза — и они оба защебетали все громче и громче, а затем медсестра (веселая была — «Я вся в мать!» — она потом говорила), смеясь, обернулась — только няня одна проходила палатой, да еще сестра больного вышла в этот миг (начало приемного часа) — «Да он у вас говорит на нашем чистейшем тосканском наречии! По-русски не говорит? Так он же — итальянец!»

С того дня Булатов стал день ото дня поправляться, медсестра заходила к нему каждый день, и они вели веселую беседу. Только странное начало делаться с речью Ивана Михайловича: он вставлял в свою возвратившуюся речь — русские слова, их делалось все больше и больше, они смешивались с тосканийскими (хорошо, что медсестра была полунтальянка-полурусская!). Она по-прежнему понимала Ваню — но отвечать ему на этом смешанном языке ей было трудно, да оно уже и не требовалось по ходу лечения — русская речь возвращалась в том же темпе, сказала Марья Михайловна, как исчезала итальянская, больной уже узнавал всех, ел, спал... Доктор попросил медсестру более не беспокоить больного — и к моменту выписки его из больницы Иван Михайлович надело забыл итальянский, которого он, впрочем, «никогда и не знал!» Он сказал это сам, когда неосторожные внуки сестры с любопытством стали расспрашивать о его «приключениях».

— Итальянского — не знал! — просто ответил он. — В Италии я был всего несколько дней, в Венеции, Флоренции и Риме. По-французски говорил плохо. Но все-таки этот язык мне там помог...

— А говорил, турецкий знаешь, — дерзко сказал беспечный юнец старику, — а мальчишку-турка не понял!

— Какого мальчишку? — спросил Иван Михайло-

вич, но в это время пришла Марья Михайловна и замяла, рассердясь, этот разговор.

Вот все это я рассказывала — друзьям. Но никогда я не делала этого так подробно, как в последний раз, уже на восьмом десятке лет. И решила записать этот случай, чтобы он не ушел со мною. Но я ощутила это как долг, может быть, потому, что, как в тот день, когда сам Булатов нам рассказал о себе во Дворце дождей, так и вновь последовала беседа различно об этом думающих. Давно уже не было с нами ни его самого, ни Бориса Михайловича Зубакина, ни сестры Булатова... Но мне хочется записать слова прослушавших мой рассказ.

— По-моему, это великолепная иллюстрация к теории о перевоплощениях, — сказал довольно молодой человек. — Чем другим можно объяснить рассказ этого художника, если верить вам и ему, что это — быль?

— Вот этому можете верить — безоговорочно, — сказала я, — что же касается теории перевоплощения — я, прожив жизнь, могу сказать только, что она по-прежнему кажется мне — вульгарной. Точно надо прожить  $x$ -количество жизней, чтобы понять что-то! Точно истина не является нам иногда — в один момент! Какая лень — какое отсутствие чувства драгоценности данного часа, отсутствие ответственности дремлет где-то в этих повторных явлениях на земле... К чему тут наряд дождя, когда-то на тебе висевший? Надо считать человека чем-то ужасно тупым, чтобы согласиться с такой организованной средней повторности! И где вы видите этот рост? Разве в глазах и в верности собаки часто не много больше благородства, чем в ином человеке? Прогресс, регресс зависят от самого человека в каждый идущий миг!..

Я остановилась, чувствуя, что говорю слишком долго. И уже стоял среди нас мне незнакомый, явно ждущий конца моих слов: они, может быть, были ему прозаичны?

— Я только хотел сказать... Вот этот необъяснимый миг — я не знаю, это со мной часто бывало, особенно в детстве! Что это все уже раз было — эта комната, окно, дверь, — мы даже предчувствуем, что сейчас кто-то скажет, уже когда-то сказал... Говоривший замолчал, ища слово. — Это нельзя объяснить, но чувство очень сильно. Оно уже в литературе называется «*déjà vu*»... Значит, так оно и было — когда? где?

— Мне думается, — сказал молчавший дотоле человек, — дело еще проще. Оно кроется в генах. Воспоминание передается по наследству — и может быть очень давним. Это еще малоизученная область, но в ней таится ключ ко многим загадкам... Человек несет их в себе. Но живет он — один раз...

— Вы, наверное, правы, — сказала я, — если, может быть, кому-нибудь хочется знать еще о Булатове и его сестре, я могу сказать, как они оба — умерли, хоть это относится сюда не более того, как смерть относится к жизни. В 1941—42 годах в деревне Жары, куда их вывезла мой друг Мария Ивановна Кузнецова-Гринева, они жили в эвакуации, пока их носила негостеприимная тогда земля. Сестра своими старыми пальчиками, так игравшими Листа, перебирала в овощехранилище вместе с актрисой Кузнецовой-Гриневой картошку — и тем кормила брата и себя. «Мирнам! — говорила она. — Спасибо тебе, что взяла нас с собой!» Она была кротка, весела — пока не слег ее Ваня. Он болел не долго, но все повторял, что Пасху они встретят вместе с сестрой! Он не дождал до этого дня десяти. «До восхода солнца — доживу!» — сказал он. Ночь прометался. При первых лучах солнца сказал: «Ура!». Это было его последнее слово. Сестра его после него легла, сказав: «Не будите!» И все спала и спала. «Мы ведь уговорились с Ваней встретить вместе Пасху», — сказала она еще. Она умерла накануне Пасхи, в страстную субботу 1942 года.

1934—1985